

Если факт не сдается, его уничтожают.

*Л. В. Шебаршин,
последний начальник внешней разведки СССР,
из афоризмов.*

Глава первая

Она являлась к нему ночами много лет подряд. Он просыпался от шороха своих пересохших губ, от хриплого шепота: «Уходи, уходи!»

За два с лишним десятилетия ее ночные визиты слились, перепутались. Но самый первый он помнил отчетливо.

Тот год оказался худшим в его жизни. Он потерял все: офицерское звание, власть, престиж, высокую зарплату, паек. Из отдельной казенной квартиры пришлось вернуться к матери в коммуналку. Он еще легко отделался, его сослуживцам повезло меньше. Одних посадили, других расстреляли. Он уцелел, остался на свободе и сдаться не собирался. Ему было двадцать восемь. Он сорок раз отжимался от пола и подтягивался на турнике, пробегал в максимальном темпе десять километров, без одышки, сердцебиения и мышечной слабости. У него были отличная память, острое чутье, быстрые реакции. Он знал, чего хочет, и умел хранить это в тайне.

Однажды ночью она возникла между ширмой и раскладушкой, на которой он спал. Не разобравшись спросонья, в чем дело, он спросил:

— Ты?

Она не ответила. Он задал следующий вопрос:

— Что тебе нужно?

Опять молчание.

Тот первый ее визит не сильно испугал его, сразу нашлось объяснение: усталость, нервы. Мать проснулась от скрипа раскладушки, села на кровати, проворчала:

— Что ты вертишься?

— Плохой сон приснился, — объяснил он шепотом.

Она исчезла на рассвете, и к полудню он забыл о ней. Но через неделю все повторилось. Потом опять и опять.

Он накрывался с головой одеялом, зарывался лицом в подушку и все равно ясно видел ее. Она стояла босая, в спущенных чулках, и смотрела на него круглыми сизыми глазами. Мокрое платье липло к телу, с волос текли извилистые ручейки. Рядом валялась пуховая шаль, поблескивал один аккуратный круглоносый бот с пуговками на небольшом каблуке.

Он вставал, стараясь не шуметь, не разбудить мать, отправлялся бродить по глинному коммунальному коридору. Движение успокаивало, но она то и дело вставала на пути.

Он беззвучно напевал бодрые песни, прокручивал в голове хорошие фильмы: «Волга-Волга», «Подвиг разведчика», «Пагетные Берлина», вспоминал любимые праздники, разукрашенную флагами и портретами Красную площадь. Ее слух терялся в толпе, вытеснялся стройными марширующими рядами физкультурников, таял под гусеницами танков, не оставляя следа на брусчатке. Он облегченно вздохнул. Но тут из кухни выскальзывала соседская кошка, шипела, изгибалась гугой. Шерсть вставала дыбом на кошачьем загривке, и он понимал: она никуда не делась, кошка чувствует ее, видит так же ясно, как он.

Из его горла вылетал беззвучный крик:

— Вали отсюда, вражина, сволочь!

Кошка испуганно убежала, а она по-прежнему стояла неподвижно и смотрела ему в глаза. Он размахивался, бил. Кулак пробивал пустоту.

Москва, январь 1977

* * *

У Никиты резались зубы. Два нижних передних показались месяц назад, а верхние все никак не желали вылезать. Десна распухла, покраснела. Он плакал днем и ночью, успокаивался только на руках. Приходилось носить его по квартире, да еще петь. Лена мерила шагами тридцать четыре необжитых метра на двенадцатом,

последнем этаже панельной новостройки, сипло напевала весь известный ей репертуар Окуджавы, Высоцкого, Визбора. Стоило замолчать, остановиться — опять крик.

Это продолжалось бесконечно, с перерывами на кормление, переодевание, купание. О прогулке пока оставалось только мечтать, единственный зимний комбинезон Никита прописал насквозь, после стирки отжать как следует не получилось, комбинезон все не высыхал, а другой теплой одежды не было.

Семь шагов от балконной двери до матраца. Пять от Никитиной кровати до письменного стола. Еще пять мимо комода, двустворчатого шкафа и новогодней елки.

У Лены немели руки, подкашивались колени, кружилась голова. Она то и дело задевала елку, сыпалась хвоя, качались и позванивали стеклянные колокольчики. Серебристый космонавт в красном шлеме сорвался с ветки, разбился вдребезги. Лена хотела взять веник, смести осколки вместе с хвоей, но Никита поднял рев, когда она попыталась уложить его в кровать.

Петь она больше не могла, репертуар закончился, повторять одно и то же, как заевшая пластинка, надоело. Она принялась рассказывать Никите бесконечную сказку про медвежонок Васю, которую сочиняла с детства.

Прототипом главного героя был плюшевый мишка, его подарил дедушка, когда Лене исполнилось шесть лет. Светло-коричневый, маленький, он удобно помещался на детской ладони. Его блестящие стеклянные глазки казались зрячими, лапы двигались, голова крутилась и слегка покачивалась, пластмассовый нос был холодным, а плюшевая шерстка — теплой. В детстве Лена верила, что он живое существо, просто притворяется игрушкой. Прежде чем попасть к ней, медвежонок прожил большую сложную жизнь и так устал, что решил пока помолчать. Она сама за него говорила, сочиняла его бурное прошлое, с приключениями, опасностями, злыми колдунами, верными друзьями.

Медвежонок-сирота скитался по миру в поисках своей родни, умел плавать, как рыба, летать, как птица. Он то и дело попадал в разные истории, иногда просто глупые, иногда страшные, опасные для жизни.

Когда Лене исполнилось двенадцать, медвежонок обнаружил следы своей потерянной родни в Англии. Но добраться туда ему никак не удавалось. Приключения продолжались до сих пор. Плюшевый Вася спокойно сидел на письменном столе. Вася сказочный чудом выжил после очередного кораблекрушения и очутился на необитаемом острове.

— Он промок до нитки, замерз и проголодался, — бормотала Лена, — на острове ничего не было, кроме серых валунов, поросших мхом и лишайником, да гигантских деревьев, с такими толстыми и твердыми стволами, что Васе они казались крепостными стенами...

Никита успокоился, но спать не собирался, слушал очень внимательно. За окном слоилась ледяная хмарь, не поймешь, рассвет или сумерки. Лена забыла завести часы и потеряла счет времени. Ветер выл тоскливо и безнадежно. Она повернула ручку желтого черного динамика.

— Повышенные обязательства взяли на себя труженики полей, — бодро пролаял женский голос, — говорит бригадир комбайнеров, передовик, делегат съезда, товарищ Тебякин.

Никита опять заплакал. Лена приглушила радио, заговорила чуть громче:

— В прогалине между камнями скопилось немного пресной дождевой воды. Вася попил, потом нашел какие-то засохшие темно-красные ягоды, они оказались горькими, но голод утолили. Чтобы согреться, обсохнуть, поспать, он набрал мха и сухих листьев, залез в дупло, закрыл глазки... Ш-ш-ш...

— Наша бригада, кагрица, крепко держит знамя победителей социалистического соревнования, кагрица, не подведем родную коммунистическую партию, весь советский народ, наполним закрома родины, кагрица, — монотонным тенором бубнил товарищ Тебякин.

— Кагрица, — задумчиво повторила Лена и продолжила сказку: — Кто-то защекотал медвежонку пятки. Из темноты на него глядели три круглых глаза — зеленый, желтый и красный. Вася узнал свою давнюю знакомую, гусеницу по имени Кагрица, прилипалу и зануду, но даже ей был рад, очень уж не хотелось оказаться на этом мрачном острове в полном одиночестве.

Наконец прозвучало:

— Московское время семнадцать часов. В эфире последние известия.

Лена выключила радио, продолжая бормотать, осторожно уложила Никиту в кровать. Он сердито заворчал, но не проснулся. Она подкрутила стрелки будильника и наручных часов, подмела пол.

В ванной ее ждала замоченная грудa ползунков, пеленок, распашонок, марлевых подгузников. Она равнодушно подумала, что надо бы постирать, чистого почти не осталось, вздохнула, махнула рукой, вернулась в комнату, рухнула на матрац, хотела поспать немного, но живот свело от голода.

В холодильнике было пусто. От новогоднего стола остался кусок торта с розовым кремом. Лена называла такие «комбиджир с одеколоном» и с детства терпеть не могла. Антон слопал все и не догадался перед отъездом закупить хоть какой-нибудь еды. Пришлось ограничиться чаем с вареной сгущенкой и куском черного хлеба с половинкой заветренного плавленого сырка.

Конечно, если позвонить маме и бабушке, они придут, привезут еду, возьмут на себя Никитку и дадут ей, наконец, поспать хотя бы пару часов. Но ближайший автомат через квартал, придется нестись галопом. Никитка спит тревожно, проснуться может в любую минуту, испугается, заплачет. Дед и мама сейчас на работе. Деду в клинику с первой попытки вряд ли дозвонишься. Маму в ее лаборатории поймать проще, но звонить ей совсем не хочется. Она возненавидит Антона еще больше, скажет: «Вот видишь, я права, он лгун и шельма!»

Из девятнадцати лет Лениной жизни еще ни один год не начинался так ужасно. Она рассорилась вдрызг с тремя самыми близкими людьми — с мамой, дедом, мужем. Новенькая квартира на двенадцатом этаже обещала столько счастья, а превратилась в предмет отвратительной семейной склоки.

— «Подвинься, — сказала Кагрица, — а то разлежся, как у себя дома. Это вообще-то мое дупло». Вася поджал лапы. Кагрица ворочалась, щекотала его своими жесткими щетинками, мигала разноцветными глазами в темноте. Шершавые стены дупла освеще-

щались красным, желтым, зеленым. Вася искал свою родню, а Кагрица искала место, где сумеет превратиться из гусеницы в бабочку. Она давно собиралась это сделать, но всегда что-нибудь мешало — дождь, солнце, жара, холод, простуда, выхлопные газы, интриги завистников.

Никита крепко спал, Лена рассказывала сказку самой себе, чтобы не заплакать.

* * *

В самолете начальник Управления достал из портфеля бутылку и предложил выпить.

— Александр Владимирович, вы же не пьете, — напомнил полковник Уфимцев.

— Кухня там специфическая, может вызвать расстройство желудка и даже отравление, надо профилактиться. — Маленькая круглая физиономия начальника сморщилась в брезгливой гримасе, он стал похож на обиженного младенца.

Стюардесса принесла толстобокие граненые стаканы с кубиками льда, тарелки с закуской. Военный атташе сразу вывалил лед из своего стакана на блюдце. Начальник протянул бутылку Уфимцеву.

— Открой-ка, Юра.

Это был шотландский виски «Johnny Walker» двадцатилетней выдержки, с энергичным джентльменом в красном фраке и черном цилиндре на этикетке. Уфимцев отвинтил крышку, налил строго по ранжиру: сначала начальнику, потом послу, потом военному атташе, наконец себе.

Атташе хмыкнул:

— Джонни Уолкер — Ваня-пешеход.

Старая шутка никого не рассмешила. Посол обильно разбавил виски водой. Чокнулись молча, без тостов. Атташе выпил залпом, пробормотал:

— Ох, крепка советская власть! — и занюхал рукавом пиджака от «Brooks Brothers».

Посол лишь пригубил, сразу отставил стакан. Уфимцев отлебнул немного, закусил долькой шоколада.

— А вы, Юрий Глебович, я смотрю, совсем американцем стали, — вкрадчиво заметил посол, — только они закусывают виски сладким.

— Или разбавляют колой, — равнодушно парировал Уфимцев, поглядывая на начальника.

Начальник пил медленно, с отвращением, словно ему налили рыбьего жира. Он совсем раскис, лицо побелело, лоб и лысина покрылись капельками пота. Руки тряслись, лед позванивал в стакане. Долгий перелет из московской зимы в жаркое лето Восточной Африки и двое суток в шумном вонючем Утукку дались ему тяжело, а личное знакомство с президентом республики Нуберро, Бессменным и Бессмертным Птипу Гуагахи ибн Халед ибн Дуду аль Каква едва не довело до инфаркта.

Древнее королевство Нуберро с 1890-го было провинцией единого британского протектората. Страну населяло сорок семь разноязычных племен. Привнесенные извне ислам, протестантизм и католицизм причудливо переплетались с местным язычеством.

После провозглашения независимости в 1962-м сохранилась монархия, король Раян Дауд ибн Укаб аль Чва Первый поддерживал добрые отношения с Британией и США. Вся иностранная собственность осталась неприкосновенной. Вдоль побережья озера Елизавета и у подножия Драконовых гор размещались британские и американские военные базы. На фоне соседних стран, где после падения колониальных режимов кипели гражданские войны и власть менялась чаще, чем времена года, Королевство Нуберро казалось оазисом тишины и благополучия. Работали школы, больницы, электростанции, железные дороги. Экспорт хлопка, кофе, какао, алмазов и золота давал неплохой доход. Белые фермеры, бизнесмены, миссионеры и туристы чувствовали себя в полной безопасности. Тишина и благополучие держались на трех китах: тайная полиция, грамотная пропаганда и непререкаемый авторитет короля.

Советская пресса горячо сочувствовала угнетенному народу, проклинала расистов-империалистов-колонизаторов и называла короля Чва марионеткой Вашингтона.

Птипу Гуагахи ибн Халед ибн Дуду аль Каква, отпрыск рода вождей племени Каква, возглавлял одну из экстремистских группировок, организацию «Копье нации», которая, по мнению консультантов Международного отдела ЦК КПСС, африканистов со Старой площади, являлась национально-освободительной, идеологически близкой и наиболее прогрессивной. Штаб-квартира «Копья» находилась в Ливии, за голову Птипу тайная полиция предлагала сто миллионов нуберрийских фунтов.

Вожди Каква издревле конкурировали с правящей династией Чва, считали свой род более благородным и достойным королевской власти. Британцы поддерживали Чва и всячески подавляли Каква, поскольку последние практиковали ритуальное людоедство. Каква ненавидели британцев. Птипу и его «Копье» получали от СССР деньги и оружие.

В ноябре 1972-го Дауд Чва Первый внезапно скончался в возрасте пятидесяти лет. Его старший сын, наследный принц Рашид Вуови ибн Раян Дауд аль Чва изучал международное право в Оксфорде, увлекался леворадикальными идеями, цитировал Троцкого и Мао, баловался марихуаной, обожал «Битлз» и «Роллинг стоунз», разъезжал по Утукку за рулем алого кабриолета без охраны, в сопровождении юной блондинки, которую вместе с кабриолетом привез из Англии. Блондинка звала его «Риччи», закидывала длинные голые ноги на панель управления, курила, с веселым любопытством поглядывая по сторонам сквозь солнцезащитные очки. Поэт и убежденный вегетарианец, Рашид аль Чва запретил сафари, отменил смертную казнь, объявил всеобщую амнистию, ввел обязательное среднее образование, совместное обучение мальчиков и девочек и отправился праздновать свой двадцать четвертый день рождения в Лондон.

Когда он возвращался домой, самолет был сбит на подлете к Утукку неизвестной ракетой. В ту же ночь границу пересекли хорошо вооруженные отряды «Копья нации». К ним присоединились орды бойцов разных радикальных группировок и уголов-

ники, которых великодушный Рашид аль Чва амнистировал и выпустил из тюрем. Началась народная революция, ее радостно приветствовала пресса социалистических стран. Боевики захватили Радиокомитет, Птипу выступил в прямом эфире, сообщил, что королевский самолет сбита ракета, выпущенная с британской авиабазы, и призвал убивать всех англоговорящих белых, обоюго пола и любого возраста.

Вооруженные толпы атаковали королевский дворец, здания министерств и тайной полиции, громили банки, гостиницы, магазины. Британцы и американцы спешно эвакуировались под охраной своих военных. Птипу объявил Нуберро республикой, себя президентом, бывших королевских министров — предателями нации, а британо-американскую собственность — народным достоянием. О судьбе королевских детей, жен и прочих родственников он промолчал. С тех пор никто никогда их не видел. Династия Чва, правившая страной больше пятисот лет, исчезла, словно и вовсе не существовала.

Через месяц после начала своего правления Птипу сообщил по радио, что ему во сне явился Аллах, велел установить шариат и строить в Нуберро исламский социализм. Специальным указом были запрещены кино и театр. С улиц Утукку почти исчезли женщины, а те, что появлялись, были закутаны в черное с головы до пят. По пятницам на центральной площади рубили головы предателям родины. Других массовых зрелищ не было.

Аллах вновь явился ему во сне и велел убивать христиан, ибо они источник всех бед. К тому моменту в стране оставалась единственная католическая миссия во главе со стариком-епископом. Птипу приказал доставить старика во дворец, спросил, как дела, как здоровье, предложил встать на колени, помолиться за светлое будущее Нуберро и выстрелил ему в затылок из своего знаменитого золотого пистолета.

В третий раз Аллах явился и велел объявить войну Америке. Американского посольства уже не было, посреднические функции выполняло посольство Нидерландов. Птипу вызвал посла и вручил ему ноту — объявление войны Америке. Посол вежливо выслушал, принял ноту и удалился. Никакой ответной реакции не

последовало. Птипу подождал неделю и сообщил по радио, что молчание США означает их капитуляцию, затем устроил грандиозное празднование победы над американским империализмом и позволил женщинам из племен ходить по улицам без паранджи.

Два года назад, в январе 1975-го, Птипу побывал в Москве с официальным визитом, получил пионерский галстук в Артеке, форму моряка Краснознаменного Черноморского флота в Севастополе, памятную медаль в Волгограде у Мамаева кургана, каску и молот метростроевца на московском заводе «Динамо», орден Октябрьской Революции в Георгиевском зале Кремля, а также горячие троекратные поцелуи Леонида Ильича при встрече и расставании.

Кроме красных галстуков, дипломов, орденов и генсековских лобзаний африканские товарищи получали от СССР беспроцентные денежные займы, станки и оборудование для построения социалистической экономики, оружие для продолжения освободительной борьбы, комбайны для будущих колхозов. В Африку отправлялись тысячи советских военных советников, инженеров, врачей, преподавателей вузов.

Леонид Ильич любил африканских товарищей и ни в чем им не отказывал. Он радушно принимал императора Эфиопии Хайли Селассие Первого, потом лобызал и одаривал президента Менгисту Хайле Мариама, который придушил подушкой императора Селассие с целью построения социализма в Эфиопии. Желанными гостями были людоед Жан Бадель Бокасса, самокоронованный император Центральной Африканской Республики и молодой полковник Муаммар Каддафи, ливийский диктатор, бедуин с грязными ногтями, объявивший себя «королем-философом».

Но никто не мог сравниться с Птипу. Бесслезный-Бесслезный в начале шестидесятых учился в Москве, в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Когда он заговорил по-русски, с трогательным акцентом, Леонид Ильич прослезился и стал звать его «Петюней».

Глава вторая

На прежней своей службе он легко переносил бессонные ночи. Там главная работа выпадала как раз на ночь, график был скользящий, можно отоспаться днем. Многие его товарищи теряли сон, а он отключался мгновенно, в любое время суток, стоило лишь уронить голову на подушку. Не мешали ни шум, ни яркий свет. Трех-четырёх часов сна хватало, чтобы потом чувствовать себя отлично.

Теперь бессонницы стали мучением, голова тяжелела, мысли путались. Вот для чего она являлась к нему ночами: заморочить, сбить с толку.

Тикал будильник, скрипела открытая форточка, трепетали ситцевые занавески. Он пытался успокоиться, ни о чем не думать, просто считал — один, два, три, и так до тысячи, потом в обратном порядке, но сквозь аккуратный частокол чисел все отчетливей проглядывал ее силуэт. Надо было обязательно поспать хотя бы час, но она не давала, стояла и смотрела.

Младший брат матери, дядя Валентин, когда ругался с женой, ночевал у них. Мать стелила ему ватное одеяло на пол. К полуночи оба храпели, Валентин — ровно, монотонно, мать — прерывисто, с причмокиванием, всхлипами, присвистами. Храп не мешал, наоборот, убаюкивал, но стоило задремать — она тут как тут.

В темноте зрение и слух обострились, он различал мельчайшие детали. Атласное бежевое платье пропиталось жидкостью, покрылось темными разводами и приобрело мерзкий леопардовый окрас. Две пуговицы у ворота оторвались с мясом, на их месте зияли дырки. Волосы, когда-то пепельно-русые, вившиеся мягкими волнами, теперь висели вдоль щек серой паклей. Ресницы слиплись и казались черными. Разве он позволял ей красить ресницы? Разве он звал ее? Как смела она являться к нему в таком виде?

Он пытался прогнать ее, угрожал, оскорблял. Она понимала его. Понимала, но не подчинялась, делала что хотела, возникала и пропадала когда ей вздумается. Он сжимал кулаки. На мякоти ладоней оставались глубокие красные следы от ногтей. Он все не мог привыкнуть, что больше не имеет над ней власти.

Темные капли с ее платья падали прямо на лицо спящего гяди, но тот не шевелился, не морщился, продолжал спокойно храпеть.

Утром на полу поблескивало мокрое пятно. У него гремело сердце. Мать ворчала:

— Наго же, сколько снегу намело из форточки!

Ночью мела метель, однако пятно было слишком далеко от окна. В комнате витал сладковатый аромат ее духов, с примесью нафталина от котиковой шубки, и едва уловимая вонь, влажно-гнилостная, неясного происхождения.

Он спросил:

— Мам, чем это пахнет?

Мать пошевелила ноздрями, сморщилась:

— У Фоминой манная каша опять подгорела, Степаныч вчера за пивом бегал, бидон уронил в коридоре, ни огна сука не догадалась потереть. Вот и воняет.

Однажды за завтраком он заметил на подоконнике мокрую пуховую шаль. Она медленно, вяло шевелилась, как медуза, выброшенная на берег, испускала мутный зеленоватый пар, тихо шипела и постепенно превращалась в нечто совсем другое, вполне обычное, безобидное.

Он залпом допил чай, откашлялся в кулак и обратился к матери:

— Смотри, что там такое?

Мать вытаращила глаза, вскочила, всплеснула руками и радостно заулыбалась:

— Ох, а я-то уж не надеялась, гумала — все, сперли такую дорогую вещь импортную, а он вот он-он, туточки! Нашелся, слаф-те хос-спади!

Вместо шали с подоконника свисал недавно потерянный мохеровый шарф гяди Валентина, синий в красную клетку, и совершенно сухой.



Это было всего лишь воспоминание, оно могло бы стать зыбким и нестрашным, как случайный ночной кошмар. Могло исчезнуть за давностью лет. Но оно возвращалось. Каждый год в начале января Надежда Семеновна Ласкина переживала приступы страха. Ее пугал шорох шин по утрамбованному снегу, визг тормозов, шаги и голоса за спиной. Она чувствовала, как тянется к плечу железная лапа, и бежала по скользкому тротуару. Сердце прыгало у горла, подкашивались колени, била дрожь, позади звучал топот догоняющих ног. Она ныряла в какой-нибудь темный двор, подалше от фонарного света, и замирала.

В выходные она старалась вырваться из дома под любым предлогом, благо на работе всегда находились сверхсрочные дела. Но иногда уйти не удавалось. Дома, в замкнутом пространстве, приступы проходили тяжелей, чем на улице. Она пряталась в ванной, включала воду, куталась в халат и сидела на коврике, сжавшись в комок, стиснув колени, пока не полегчает.

Она убедила своих близких, что с ней давно все в порядке. Старая травма зарубцевалась, больше не болит и не пугает. Несколько раз папа видел ее лицо до и после приступа и потом долго не мог забыть, очень тактично, робко пытался поговорить.

Может, правда, стоило выговориться?

Много лет назад, когда травма была совсем свежей, она пробовала рассказать родителям, как все происходило, что с ней делали и что она при этом чувствовала. Но губы застывали, голос пропадал. Мама говорила: «Не надо, не вспоминай, не буди лиха, пока оно тихо». А папа плакал. Тогда она решила молчать. Включился древний инстинкт: ужас нельзя называть по имени. «Не буди лиха...» Но подлость в том, что тихое, неразбуженное лихо все равно не спит.

Утро пятого января 1977-го было морозным, сверкали под фонарями сугробы, в чернильно-лиловом небе мигали звезды. Надежда Семеновна шла своим обычным маршрутом, через проходные дворы, по переулку, мимо сберкассы, к трамвайной остановке. Позади зазвучали шаги и мужские голоса. У нее пересохло во рту и сжался желудок. Вот сейчас лапа ляжет на плечо, и она